

Мне повезло — я родился у моря. В том, что мне действительно очень повезло, я совершенно убежден и всегда считал и считаю, что люди, не жившие рядом с морем, сами того не ведая, лишились возможности познать неоглядность и синеву, настоящий размах и силу. Живущие рядом с морем мне кажутся несравненно более добрыми, размеренно спокойными и мудрыми. Эту доброту и мудрость дарит им море.

У меня было две няньки: море и бабушка Агафья Павловна. И море и бабушка качали меня на руках и пели длинные старые песни. Я был совсем маленьким, когда умерла бабушка, но в памяти ясно высвечивается, что и песни моря и песни бабушки были одинаково светлыми, одинаково мудрыми, исполненными вечной печалью за людей.

У меня не было старшего брата, и море было моим старшим братом. В большие шторма, когда вода соревновалась в неистовстве с гранитными валунами бакланов[[1]](#footnote-1), я долгие часы проводил на берегу, играл с волнами и пеной, возвращал морю выброшенных на песок живых крабов и звезд. Как старшему брату, я доверял морю свои мальчишеские тайны. Когда детство обижало меня, я приходил к морю и только ему показывал свои слезы. И море советовало мне, как превозмочь беду.

В теплые дни макушки лета я просыпался в комнате, усыпанной отраженными от воды, прыгающими по стенам бликами, и бежал к морю, и море качало меня на медленных, ласковых волнах моего детства...

\* \* \*

Давайте возьмем акварельные краски, тонкие кисточки, лист картона и нарисуем такую картину.

Синий, бесконечно высоченный небосвод. Чуть ниже его — лесные вершины, а немного сбоку висит желто-белесое полуденное солнышко и проливает вниз летнее тепло. Солнышко считает себя самым совершенным украшением пейзажа и потому неотрывно засматривается в свое отражение, степенно купающееся в плавной воде и оттого почти не меняющее очертаний. Внизу под солнышком величавое, степенное синее-синее пространство, именуемое Белым морем. По морю идет пароход, желательно тоже белый и предпочтительно пассажирский, потому что такие суда мне нравятся больше. Чтобы украсить картину, добавим, что за пароходом стелется легкий, полупрозрачный дымок, издали напоминающий фигурно вырезанную светло-сиреневую полоску тончайшего шелка. А над палубой, как белые косынки, кружат чайки.

Так вроде бы получается ничего.

Пароход скорее всего идет на Соловецкие острова и везет туда экскурсантов. Ну, а какой народ может быть более беззаботным, любознательным и вездесущим? Конечно, экскурсанты должны быть на палубе, разглядывать море, чаек и берег. Поэтому точными мазками украсим палубу яркими красками женских платьев, мужских рубашек, изобразим радость и удивление на лицах людей.

Почему удивление? Сейчас все объясню. Не надо торопиться, потому что спешка может испортить создаваемый нами пейзаж.

Итак, давайте постараемся, чтобы никого не разочаровывать, и нарисуем кусочек северного пейзажа во всей его прелести. Задача, надо сказать, у нас не простая: зрителей привлекают в картинах броские цветовые пятна, перепады и переливы света, буйство контрастов. Как бы мы ни старались, у нас этого буйства не будет, ведь мы с вами рисуем с натуры не свадьбу в Молдавии и не альпийскую долину, а Беломорье, которому — так уж вышло — природа отпустила явно маловато красок из подаренной Земле палитры. Фон пейзажа мы не сможем украсить сегодня ни северным сиянием, действительно сказочно роскошным, подавляющим воображение всполохами гигантских, в полнеба, расцветок — оно бывает лишь в зимние ночи,— ни даже радугой: ведь стоит солнечный летний день.

Поэтому нас с самого начала подстерегает опасность: вдруг будет она висеть где-нибудь в уголочке и никто не обратит внимание на эту северную акварельку. Нет участи печальнее для художника!

Итак, взойдем на палубу парохода, идущего на Соловки, и глянем на берег.

Отсюда море не кажется таким ярко-синим, как, например, сверху. Это оттого, что его оттеняет берег. Поэтому на верхушках покатых, еле дышащих волн синь разбивается на размытые вкрапления темно-серо-зеленых цветов. Колыхание воды приобретает некоторую грузность, как бы свинцовость. На этой тускловатой сини качаются черными пятнышками деревенские карбасы. Впрочем, карбасы не обязательно черные. Традиционно такой у них только низ. Теперь местные жители стараются перещеголять друг дружку в красоте своей лодки. Поэтому борта мы можем нарисовать и оранжевыми, и желтыми, и даже ярко-красными. Все же это хоть немного расцветит нашу картину. В карбасах сидят деревенские мальчишки с вытаращенными от восторга и азарта глазенками и удят наважку. Наважка клюет довольно споро, и мальчишки беспрерывно дергают короткими морскими удочками. Маленькие, поблескивающие на солнце золотом рыбки, вылетев из воды, разбрызгивают радужные капельки и пропадают на дне карбаса. А вон, смотрите, как напружинился тот мальчуган в серой кепочке, в тельняшке с отцовского плеча, как натянулась леса его удочки. Он тянет из воды нечто тяжелое. Оп! Вот это да! Здоровенная зубатка змееподобно извивается в лодке, таращится на мир бульдожьим рылом, стукает страшенными зубьями и норовит цапнуть рыбачка за сапог. Что же, поздравим мальчишку. Сегодня у него есть основания задирать нос перед сестренками и другими ловцами наважки.

Дальше, за карбасами, из воды торчат желтые спички, но это, конечно, вовсе не спички, это толстые и длинные колья, к которым крепится ставной семужий невод. В голове невода, у тайникового кола, покачивается еще один карбас. С носового коржка[[2]](#footnote-2) к воде свесился рыбак и устало всматривается в глубь: не завиляет ли в тайнике смутной тенью гибкая, темная спина царь-рыбины семги.

Огромная, пестро играющая скатерть воды с вышитыми на ней разноцветными лодками, рыбацкими снастями, матовыми вершинами торчащих над поверхностью гранитных валунов, белыми пятнышками чаек, сидящих на них,— все это по всей ширине окаймлено узкой однотонно-желтой полосой песка. Пассажирам теплохода повезло: сейчас отлив, и песок, умытый сбежавшей морской водой, выглядит особенно привлекательно,— изумрудно поблескивает россыпями гальки. По отливному берегу бродят ленивые деревенские отъевшиеся овцы и жуют выброшенную морем ламинарию. В ламинарии много йода, и овцам это нравится.

Чуть подальше, на самом краешке песчаной полосы, куда вода уже не добирается и в свирепые штормы,— череда маленьких и аккуратных домишек, издали напоминающих кирпичики. Это деревенские бани. Ага, сегодня же суббота, банный день! Видите, как из труб дружно тянет и столбами уходит в небо молочный березовый дым. Ох и жарища сейчас в этих баньках! Не зря же, посмотрите, из них то и дело выскакивают распаренные, медные мужики, с разбегу бухаются в соленую воду и, размахивая жилистыми ручищами, тараща осоловелые, покрасневшие глаза, бегут обратно, в прозрачный банный пар.

По-за банями (а нам с моря кажется — как бы над ними) вырастают дома деревни. Выстроенные из кондового, звонкого, неохватного ельника, высоченные и широченные, как на подбор крытые белым шифером, обшитые тонкими узорными разноцветными досками, здешние дома волнуют глаз своей основательностью и, хотелось бы так выразиться, грандиозностью и размахом деревенской архитектуры. Не исключено, что кто-нибудь из пассажиров, уроженец средней полосы России, не видавший никогда ничего подобного, усомнится в целесообразности столь больших затрат материалов, времени, труда на постройку жилища. Зря. Не надо ни сомневаться, ни завидовать. Тот пассажир, разморенный сегодняшним текущим с неба солнцем, просто позабыл, что Белое море, по которому он плывет на пароходе,— это не что иное, как залив Северного Ледовитого океана, и зимой тут пароходы не ходят, потому что кругом толстенное ледяное поле и температура за минус тридцать...

Здешние огромные строения — это продукты естественного отбора, как, например, необычно крупные люди в Сибири или растения в Австралии. Все объясняется местными природными условиями. Дома на берегу Белого моря — как крепости от сырых холодных морских ветров, от лютых снежных бурь. Не говоря уже о том, что это еще и целые хозяйственно-крестьянские комплексы с просторными кладовыми с запасами на всю зиму, хлевом для скота, поддомным погребом, поветью, с высоким чердаком, где хранится рыбацкая снасть и хозяйственная принадлежность, взвозом, сеновалом, амбарными и дровяными пристройками, колодцем... Да и комнат несравнимо больше, чем обычно на Руси: по четыре, а то и по пять...

С южной стороны каждого дома машет зелеными ветками маленький, в три-четыре дерева, ухоженный садик. Преобладают деревья, расцвеченные ярко-красными пятнами. Значит — рябины. Представляете, какие загораются осенью от этих рябин костры по деревне, воспетые русскими поэтами...

И еще, видите, позади домов тоже широкие квадраты зелени. Это огороды. Судя по разноцветью, преобладает там картошка. Но выращивают здесь и лук, и репу, и редьку, и редиску, и укроп, и малину, и огурцы в парниках, и даже клубника кое у кого начинает проклевываться и наливать румянцем бледные пока еще щечки. Вот тебе и Север! Можно представить себе, как хозяева-соседи соперничают здесь друг с дружкой в садоводческих новшествах, используя все скудные возможности здешней природы!..

Выберем из нашей палитры самые яркие цвета и выпишем полосатую гряду холмов, которая высится сразу за деревней. Это деревенские поля, гладкие, покатые, ухоженные. Как привлекательно бушует на них летнее разнотравье, как украшает весь берег!

А еще дальше за полями, вокруг всей деревни, уходя в необозримые дали, разлилось буйное зеленое царство, темнеющее лишь у самого горизонта,— царство знаменитой архангельской тайги, бескрайней и богатой, усеянной озерами, изрезанной реками, в которых полно форели...

Теперь — все. В нашей картине можно, конечно, кое-что подправить, подровнять, оттенить или сделать ярче... Как и каждую, пусть даже совершенную работу художника, нашу тоже можно доводить еще и дорабатывать, находя для этого все новые и новые цветовые нюансы. Мы тоже сделаем это постепенно...

Но уже сейчас этот пейзаж привлекателен...

Этот пейзаж — мой дом.

Это деревня, в которой я живу.

Интересно все-таки плыть на белом пароходе по Белому морю из Архангельска в Соловки.

\* \* \*

У вас бывало так: бредешь по сырому, промозглому, стылому лесу, из последних сил поднимаешь ноги, обессилевший, промокший до нитки, голодный и злой на весь мир? А дом черт знает где, в какой стороне, и сколько до него?.. Небо занавешено тучами, бегущими прямо над головой, кругом туман, и не по чему ориентироваться, а время уже к вечеру, и скоро ночь...

У меня так было, и не однажды.

В такие минуты испытываешь самый что ни на есть жуткий страх оттого, что тебе придется провести ночь в сыром незнакомом лесу, и зябнуть долгие часы под какой-нибудь елкой, и слушать шаги голодного зверья. Не дай вам бог...

Но бывает и по-другому. В самый распоследний безнадежный уж момент вы выходите все-таки на старые суземные пожни[[3]](#footnote-3), поросшие буйным молодым березняком, или к лесному озеру и, облегченно вздохнув, с бесконечной благодарностью судьбе, выдохнув какие-то искренне-счастливые слова, опускаетесь прямо на землю и прислоняетесь к первому попавшемуся стволу.

Перед вами стоит ваша спасительница — почерневшая от времени, скособоченная, давно забытая людьми, ждущая вас старенькая лесная избушка. Она вожделенно смотрит на вас, пришельца, единственным окошком-глазом с треснутым стеклом и изнемогает от нетерпения, ей хочется поскорее встретиться с вами. Дитя человеческого труда, созданная, чтобы служить ему верой и правдой, она устала жить одна в лесу среди зверей, птиц и травы, без добрых человеческих глаз и рук. Оттого, что люди забыли о ней, избушка быстрее состарилась и покосилась.

И вот наконец человек пришел. Избушке хотелось бы принять вас как можно лучше, но ей мешает старость и морщины-щели, которые едва удерживают тепло, но она старается изо всех сил...

...Полежав на слегах-нарах и отдохнув с дороги, вы обихаживаете избушку: веником из наломанных березовых веток сбиваете в углах паутину, подметаете прогнивший пол, выбрасываете на улицу мусор; потом приводите в порядок сердце лесной избушки — каменку, черную печь, аккуратно собираете и складываете «в шатер» развалившиеся гранитные камни и совершаете главное таинство — разводите огонь.

Трещат дрова в печке, дым валит прямо в избу, чуть колышущейся почти идеально ровной снизу пеленой висит над полом и плавно вытекает в дымник — маленькое отверстие под самым потолком, а вы, полулежа на полу перед каменкой, занимаетесь извечным, никогда не надоедающим делом, излюбленным для многих и многих поколений живших ранее людей. Вы смотрите на огонь, на дым, на вечерний лес, пошумливающий за открытой дверью. Пускай избушка ваша стара и дряхла, но с полыхающей печью внутри — это уже жилище! И вам совсем-совсем не хочется выходить из нее туда, где сырость, слякоть и темень, где шуршат по лесу шаги голодного зверья.

Дрова прогорели, накалив докрасна каменку, дым из избы уплыл. Вы сгребаете в кучу оставшиеся угли, убеждаетесь, что среди них нет головни, что среди красно-белых углей не мерцает ядовитый угарный синий цвет, и закрываете двери и дымник... Сытый, обогретый, разомлевший, вы вытягиваетесь на нарах и долго еще не можете уснуть... Изба, будто выпрямившаяся, постреливающая совсем по-молодому углами, совсем уже сухая изнутри, время от времени словно облегченно, умиротворенно вздыхает.

Лесные избы, потупившиеся к земле, съедаемые плесенью, заброшенные человеком чащобные дворцы приюта... Вас становится все меньше.

Как и создавшие вас люди, вы умираете быстрее, когда о вас забывают. И как люди, вы стараетесь отдать больше доброты и тепла тому, кто вспомнит, навестит, скажет доброе слово...

Люди всегда ставили лесные избы, особенно сенокосные, на веселых местах: на холмике над ручьем, речкой, озером, среди высоких белых берез. Не потому ли есть в них что-то притягательное, влекущее своей неотрывностью от красоты русского леса. В редкие минуты отдыха, в обеденные перекуры, косари — мужики и бабы — собирались тут, чаевничали у лавы[[4]](#footnote-4). Здесь звенел их смех...

Утром я ушел домой по летнику[[5]](#footnote-5), который совсем слабо, но все же еще выделялся среди желтой травы. Перейдя речку, оглянулся... Я еще приду к тебе, изба.

\* \* \*

«Нельзя дважды ступить в одну и ту же реку»,— сказал древний мудрец. Нельзя, потому что вода и время беспрерывно, неотвратимо текут и все меняется...

Нельзя дважды прийти к морю и увидеть его прежним. Море переменчиво...

...Зимой нашего моря нет. Есть только огромное холодное поле с торосами, ледяными ветрами. На этом поле никто не живет, ходить по нему скучно. Разве только продолбить лунку, забросить удочку и долго-долго ждать поклевки. Может, клюнет страшный, как морской черт, и колючий ревяк[[6]](#footnote-6). Но ревяки, охочие до поклевки летом, и те зимой клюют вяло, будто из уважения к долготерпенью рыбака. На самом горизонте лед кончается. Там в синих студеных полыньях живут хитрые дальнозоркие нерпы, ныряют за рыбой, и подолгу сидят на кромках торосов, и подставляют жирные бока едва пробивающемуся через колючий мороз тусклому слабому солнышку.

Весной солнце беспощадно расправляется со льдом и вместе со своим другом — летним ветром — разбивает его на куски-льдины, а потом долго гоняет их из конца в конец. Кататься на льдинках — едва ли не предел мальчишеского счастья.

Стояла весна, льдинок принесло много, и я, как и каждый из высыпавшей на берег полураздетой, кирзачно-резиновой, лихой деревенской шантрапы, торжественно оседлал одну из льдинок, вооружившись колышком из чьей-то изгороди. Плавая на них, как на плотах, мы сталкивались друг с другом, брызгались холодной весенней водой, орали что-то воинственное.

Крепко дунувший от деревни горный ветер унес в море именно меня, потому что мне было всего пять лет и я был самым слабым.

Колышек вдруг перестал доставать до дна, и я беспомощно тыкал им из стороны и сторону. Я отчаянно греб своим колышком, но берег и дом все удалялись. Мне захотелось прыгнуть в воду и поплыть... Море, спокойное н минуту назад такое веселое, уносило меня от дома. Я ничего не мог с ним поделать, медленно, но неотвратимо оно тянуло меня, отрывало от всех. От сковавшего тело ужаса я не смог даже зареветь, только оцепенел и стоял, вцепившись в бесполезный колышек. Впервые осознал я тогда страшную силу и необоримость моря.

Меня спас Валька Корельский, старший из всех нас. Он догнал меня на своей льдинке, пересадил на нее и потом долго греб изо всех сил к берегу, против горного ветра, а я ему мешал, потому что трясся от страха и уже ревел во всю мочь. По существу, Валька совершил подвиг — очень сильно рисковал. Но мы тогда ничего не знали о подвигах, мы были совсем маленькими.

\* \* \*

..Я был влюблен в Наташу Петрову, девочку из Ленинграда. Она целый год жила в нашей деревне у своей бабушки. Я не мог в нее не влюбиться. Блондинка, с голубыми, как у Мальвины из сказки про Буратино, глазами, с аккуратным носиком, длинноногая, и ко всему еще и отличница. Кроме того, она была на год старше меня, и это обстоятельство играло решающую роль: сверстницы были мне понятны, а тут красивая отличница из Ленинграда старше меня...

В то время у нас была очень популярна песня, которую пел Ободзинский: «Я у моря рожден, в краю, где ветра, море с детства, как мать, учило меня песни звонкие петь...» Я выходил к морю, громко запевал эту песню и старался петь ее так же звонко, как Ободзинский. Мне было наплевать, что я пою в тысячу раз хуже, я знал, что пою лучше его и звонче. Я был влюблен.

Ах, как встречало меня, как внимало мне тогда море! Взволнованное ли непогодой, приглаженное ли уснувшими на его поверхности ветрами, оно на всю свою неоглядную ширь слушало только меня и только меня слышало. Кто еще, кроме него, мог с таким вниманием и чуткостью выдержать то, что я наговорил и напел ему тогда, не испугать и не покоробить во мне то необычайно легкое, светлое, крайне ранимое и хрупкое, но удивительно сильное чувство, которое люди называют первой любовью.

Все, что я сказал тогда ему, море сохранило, впитало в себя, и уже теперь, по прошествии многих лет, когда я прихожу на его берег и сижу в одиночестве, глядя на море, вода, словно золотую рыбку, выносит ко мне воспоминания, шелест слов, сказанных или спетых мною тогда, в дни первой любви...

...Июльскими длинными вечерами на закатах белых ночей мы бродили по лоснящемуся от набегов маленьких волн плотному песку, и море, ласкаясь о наши ноги, осыпало путь искорками...

А Наташу с тех пор я больше никогда не видел...

\* \* \*

Море бывает разным...

На деревенском кладбище, что стоит на угоре средь высоких молчаливых сосен, поодаль ото всех могил, около самой изгороди, выделяется одна, самая понурая и неухоженная. Лишь изредка кто-нибудь нарвет букетик полевок[[7]](#footnote-7) и положит на почти уж сравнявшийся с землей холмик.

Это могила моряка, погибшего лет пятнадцать назад.

Я помню, как после страшного, недельного шторма его выбросило море недалеко от деревни. Его нашли мы, подростки. Он лежал далеко от успокоившейся воды на полосе прибитых приливными штормовыми волнами водорослей. Лежал на спине, замытый песком, перевитый лентами ламинарий.

Редко увидишь таких огромных людей. Погибший был не менее двух метров ростом. Он был в одежде, а поверх нее был еще надет надутый спасательный жилет.

Как же он не выплыл, не спасся?

Наверно, при жизни он был очень сильным и уверенным в себе человеком.

Наверно, упав в воду с судна, он долго не сдавался и боролся за свою жизнь.

Но море оказалось сильнее.

Я представил, как тот, погибший, смотрел на уходящее от него судно, команда на котором не заметила, что боцмана (а он оказался боцманом) смыло волной. Шторм поднимал его на гребень, и тогда появлялись огни корабля, который только что был его домом, где родной ему кубрик хранил в себе его тепло. И вот он оказался за бортом, и ничего не осталось, кроме пены и черной воды.

Поначалу он долго кричал и громко ругался, взбадривая себя надеждой, что услышат же, придут на помощь. Не может он, такой сильный, здоровый, переполненный жизнью, вот так бездарно, нелепо... Нельзя же так...

Он долго боролся с морем, и тогда, когда пропали в ночи огни судна, и когда от сковавшего тело холода, от отчаяния уже, казалось, не было сил.

Куда плыть, когда ты посреди моря, когда ночь, когда ветреная рвань? Только летящие над головой черные, занавесившие все небо тучи, только безжалостная, ревущая, заполнившая весь мир, бьющая в лицо вода.

Море бывает разным...

Раньше могилу моряка навещала его жена, живущая, кажется, в Архангельске. Молодая, с печальными красивыми глазами. Теперь она не приезжает. Не знаю, почему...

\* \* \*

Поначалу я боялся леса. Поначалу — это когда я только учился ходить. Потому что именно с тех пор я хожу в лес. Я боялся, даже если был с родителями, не отходил от них ни на шаг, мешал собирать грибы и ягоды. Все это из-за того, что с самого раннего детства был наслышан о живущих в лесу чертушках, водяных, а также о лесном хозяине — лешем.

— Девкой шла я из соседней деревни,— рассказывала вечерами на печи бабушка, когда в дымоходах длинно и уныло гундосил ветер. — Гляжу — стоит кол дороги мужичонко, маленький, сивой, в бахилах да в фуфайчонке, смотрит, окаянный, на меня и улыбится буде, пальчем манит. Да как повел, батюшко-о! Перекреститца хочу — руки не могу поднять, остановитца хочу, ноги сами шлепат. От беда, ох темнеченьки-и! Ну и наводил меня по лесу, окаянной. Вернул взад. Не путь значеть был. От беда, батюшки-светы-ы!

Бабушка мелко крестилась и чмокала губами. В потемках тускло отсвечивали ее слепые глаза, устремленные куда-то сквозь потолок, крышу, к черному, в белых точках небу...

— Баба, а зачем он пугат?

— Хто его, Паша, знат. Дунька Зьемиха вон почему седа?

— Не знай, баба.

— Девкой побегла в лес мху драть к Частым озеркам, а он, окаянной, ей дедком прикинулся ейным, Логином. Дак увел, змей, ажно до Самосушного. Ну не проклятушшой, а? Две дни деву искали. Напужал всю да зашшекотал. Белой-то волос и пробил. Не дай ты осподи встренуть иде!

И моя бабушка Агашка опять крестилась.

Я знал, что ей никогда больше не повстречаться в лесу с шальным лешаком, не ходок она никуда из-за бельм на глазах. Но бабушка говорила так, будто и впрямь верила, что даже завтра, хоть сейчас, в темень, зайдет она в наш лес, а там так и ждет уже за первыми лесинами тот мужик с нечистой бороденкой, жуткими глазищами и манит ее... Значит, страх у нее перед ним был велик. И мне тот страх передавался.

Поэтому я боялся леса. Он долго оставался для меня непонятным, враждебным, средоточием загадочных темных сил.

Я старался избавиться от этого страха, потому что лес меня манил самим своим существованием, перенасыщенностью тайн, непонятностью.

С одиннадцати лет я начал ходить в лес один. Если, конечно, не считать собаки Венки и отцовской «малопульки». Венка была охотничьей лайкой, поэтому относилась к моим лесным походам с нескрываемым презрением. Ее, видно, раздражало мое неумение хорошо стрелять и даже держать как следует винтовку. Когда я очередной раз «мазал», Венка закрывала глаза и отворачивала морду, будто говорила про себя: «Ну и охотничек!» Хорошо, что она и в самом деле не умела говорить. Иногда «малопулька» и вовсе не стреляла, или давала осечку, или пуля застревала в стволе: отец не баловал меня качественными патронами. Душа Венки не могла выносить мои долгие ковыряния шомполом в стволе, она сидела рядом и стонала от нетерпения, потом убегала искать дичь. Еще ее бесило то, что я трусил и не заходил в лес далеко, а у нее были свои любимые места, свои охотничьи тропы и привычные, знакомые только ей запахи. Лес был для нее вторым домом. Венка была настоящей охотничьей собакой.

Только года через два я начал заходить дальше. Мои страхи, притушенные долгой привычкой ходить по тайге, потихоньку угасли. И еще чуть позже я начал различать лес, и даже ощущать его в себе совершенно разным. То цельное, единое и, можно сказать, бесформенное восприятие леса как нагромождения деревьев, кустов, травы с живущими в нем птицами и зверьем, раздробилось на множество цветных частей, лоскутов, каждый из них был определенной, отличной от других картинкой леса, его состояния и даже настроения. И тогда впервые я стал подозревать, что и у леса есть душа, что и ему свойственна смена настроений.

Ранним утром лес долго не может, да и не хочет пробуждаться. Нахмуренный и отяжелевший от дремы, он степенно и медленно отряхивает с листьев утреннюю росу, потом, умытый и посвежевший, с легким скрипом распрямляет ветви, покачивает как бы для пробы стволами и вот пошумливает и позванивает листвой, птицами, хвойными кронами...

Днем лес говорлив, весел и дружелюбно задирист, словно бесшабашный подгулявший парень. С вами он ведет себя по-ухарски: как своему закадычному дружку, бесцеремонно протягивает руки-ветви, по-свойски похлопывает по спине и бокам и о чем-то все громко рассказывает, рассказывает...

В вечерние часы он будто спохватывается, что наболтал и накуролесил чересчур. Лес сбрасывает с себя ветер, подминает его под себя, и тот, повиляв из последних сил меж стволами, ложится на траву и затихает. Деревья какое-то время еще не могут успокоиться, но разговор их друг с другом становится все тише, тише, потом переходит в шепот и умолкает совсем, когда все дневные новости уже обсуждены. И только осины, несусветные болтушки, всё шуршат о чем-то, всё шуршат...

А ночью лес, зачарованный, умиротворенный, вглядывается в звездное небо, тянет к нему руки и о чем-то тихо мечтает. И засыпает только под утро...

Лес разнообразен, насыщен красками. Они поблескивают, подмигивают вам на каждом шагу, все новые, яркие, многоликие, сочные и свежие.

Вы идете по вековому бору. Под ногами шуршит толстыми меленькими темно-зелеными листьями брусничник. Пучки ягод, бордовые от налившейся зрелости, выглядывают из-за листочков и тут же прячутся: им неохота попадать к вам в рот, ягодам больше нравится жить тут, среди зелени, около матери-земли, которая поит их сладким соком. Глупышки ягоды. От людей они еще могут спрятаться, но только не от глухарей, тетеревов и рябчиков. Птицы склюют их перед снегом, когда ночными первыми морозами подсластятся яркие бока ягод.

Вокруг вас царство коричневых, неохватных сосновых стволов, кое-где увитых от времени седыми нитями лишайника. Прямые и ровные стволы эти внизу совершенно без сучьев, уходят они куда-то далеко-далеко в небеса. Там, в небе, они держат в руках густые зеленые кроны и размахивают ими как парусами, плывут по нему вперегонки с белыми облаками.

Но вот лес распахнулся, и к вам выплывает прямо из гущи старая, в молодых березках пожня[[8]](#footnote-8). Вы садитесь под сосной, и вам отсюда не хочется уходить. Прямо тут начинается и убегает далеко вдаль широкое, поросшее травой поле с разбегающимися в бока кулигами[[9]](#footnote-9). Сквозь траву, примятую местами жировавшими здесь лосями, повсюду, насколько хватает глаз, просвечивают желтые, красные, синие, фиолетовые цветы. А дальше опять идет лес, только отсюда, с расстояния, не нежно-зеленый, а синий, подсвеченный сверху свалившимся к западу солнцем. Словно кто-то добрый, понимающий в красоте набросил на лес огромное, огненно-желтое покрывало.

Бывает, что выйдешь не на пожню, а на какую-нибудь гарь или ржавую болотину, на которой, как зубья из поломанной гребенки, торчат редкие кренюжины, песня в душе умолкает. Ну что за лес! Неприютный и чернорукий, золотушно-костлявый, жидкий, раздетый. Жизнь чахнет здесь. Обходит эти места даже ягода морошка. Уж ей-то все равно где расти, было бы тени да сырости больше. Совы и филины, ночные чудища, и те сторонятся этих уродливых заколдованных лесов. Только что-то чавкает и булькает в гнилых ручьях, словно всхлипывает чья-то завязнувшая душа. Здесь-то и живет, наверно, нечисть, о которой рассказывала бабушка Агафья Павловна.

Кто выдумал это уродство? Зачем оно рядом со звонким, могучим сосново-елово-березовым зеленоглавым совершенством?

Может быть, для того, чтобы мы могли полнее и глубже познать красоту?

А лешего, про которого рассказывала бабушка Агашка, я все же встретил.

Я сразу узнал его по описанию, услышанному еще в давние вечера, когда лежал с бабушкой на печке, а в дымоходах выл ветер.

Он спускался мне навстречу по Летней Гремяке, маленький, с красным морщинистым лицом, в затертой, вылинявшей фуфайке, в старой заячьей шапке с торчащими в разные стороны ушами, хотя стоял теплый август. На спине тащил здоровенную охапку сена.

«Сейчас куда-нибудь заведет»,— совсем не радостно подумалось мне.

— Чего зыриссе, Пашко,— сказал мне Леший, когда подошел.— Помоги лучше дедку сено до лодки снесть. — И уставился на меня слезливыми маленькими глазками.

Это был наш деревенский дедко Егор.

Пока я нес сено, он всю дорогу посмеивался, что меня испугал. А когда пришел в деревню, рассказал об этом своей бабке Федоре Ильиничне.

И та тоже долго потом подтрунивала надо мной и говорила:

— Нету их, Паша, лешиев-то. Не верь, скажут дак.

Конечно, нет, но истории эти остались в памяти как детские сказки.

\* \* \*

Мои предки ловили рыбу так: они приходили ранней весной на свое озеро (по неписаным законам у нас в деревне почти у каждого рода свое озеро) и ставили «морды»[[10]](#footnote-10) в протоки и ручьи, соединяющие соседние озера. В это время по протокам валом валила сорожка[[11]](#footnote-11), и ее набивалось в «морды» великое множество. Родичи мои наваливали сорогой полные пестери[[12]](#footnote-12) и несли их домой, кряхтя от тяжести на зыбких и вязких мхах, на размытых талой водой кочковатых летниках, с которых в теневых густолесинных местах еще не сошел весь снег.

Дома сорожку засаливали в деревянных бочках, и из нее получалось ни с чем не сравнимое мачко, блюдо, донельзя простое в потреблении,— рыбу поджаривают, разбавляют водой и макают в него хлеб. С картошкой в мундире это было объедением.

Ловили, конечно, разными способами и другую рыбу: щуку, налима, окуня, сига, навагу... Но всегда ловля эта имела чисто заготовительный характер. Старались взять рыбы как можно больше, чтобы прокормить зимой семью.

Сейчас все не так.

Теперь минули те давние годы, когда деревня на зиму отрывалась от остального мира непроходимыми снегами, страшными морозами и голодными волками, задиравшими собак прямо за деревенскими задворками, когда кормились только летними запасами. А они к весне всегда истощались, и мужики поэтому жадничали, когда ловили рыбу.

Трижды в неделю прилетает теперь в деревню самолет и привозит все: и продукты и промтовары. Зайдите в магазин, там есть и то, что в городе рвут из рук.

Старухи говорят: «Слава те осподи! Дожили».

...А как же ловят рыбу теперь?

Впрочем, такая постановка вопроса не совсем уместна. Способы рыбной ловли (всем это известно!) довольно консервативны. Кто на удочку или спиннинг, кто на продольник (перемет). Идут в дело те же «морды», и рюжи[[13]](#footnote-13), и невода...

Важно другое: изменился сам подход к этому.

Вот картинка из будничного дня местного селянина.

Лето. Жаркий сенокосный день. Поработав на припольке до полудня, колхозник слезает с косилки и идет домой на обед. Не заходя в избу, он стягивает сапоги, вешает их кверху каблуками на огородные колья, потом достает из-под крылечка короб и медленно идет на берег моря. Напротив его дома стоит рюжа. Сейчас пол-отливная вода, и «бережные» колья с закрепленной на них «стенкой» стоят на голом песке. Минут десять мужик для важности не подходит к своей снасти, а сидит на бревнышке напротив и покуривает папироску. Спешить тут несолидно. К нему подходит его сосед, тоже «обеденный», и они степенно беседуют о «сейгошных» укосах, да о моторе, который «надоть» починить, да о карбасах, да еще о проблемах, требующих житейского разрешения. О рюже и не говорят, эта проблема несерьезна.

Потом мужик потихоньку закатывает выше колен штанины и с корзиной бредет к головному колу. Отвязав тетиву, он перебирает обручи, трясет их и наконец, развязав горло рюжи, вываливает рыбу в короб.

Оставшегося на берегу соседа количество пойманной рыбы почти не интересует, если, конечно, улов не превышает или, наоборот, не достигает само собой установившейся нормы — примерно половины корзины. Глянув на улов, он только скажет: «Кажись, камбалка нонче ядреней стала», или: «Треска чево-то отошла».

А мужик с уловом идет домой, и вычищенная рыба, еще живая, попадает в уху или на сковородку.

И так каждый день.

Мужик ходит к своей рюже как в чулан.

А вот еще такая картина.

Тоже лето (а может, конец весны или первая половина осени). Воскресный погожий день. Два местных мужика, переделав с утра самую необходимую домашнюю работенку и пополдничав, копают быстренько червей, достают с поветей удочки и идут за околицу, где течет довольно мелководная, но омутистая и порожистая речка Верхотинка.

В той речке живет разная рыба, но мужики разборчивы. У одного клюнул окунек, но рыбак отцепил его с крючка и выбросил в воду. Окунь, донельзя обрадованный, саданул хвостом и аж над водой подпрыгнул от счастья. У другого клюнул подъязок. Ну, подъязка взяли из уважения к размерам. На ершей и прочую мелкоту даже не смотрят. С крючка и в воду.

Что такое с мужиками?

Но вот один рыбак берет нового, самого ядреного, хвостатого червяка, оставив длинные концы, насаживает его «гармошкой» на крючок и подходит осторожно к тому месту, где только что бухнула хвостом какая-то сильная рыба. Взыграла она у другого берега в коряжистой небыстрой закрути, где повис над водой ивовый куст.

Рыбак приближается к этому месту осторожно, наклонив заранее к воде удилище, чтобы не махать им потом, скинув сапоги, чтобы не шуршать о галистую отмель. Рыбак знает, что это за рыба.

Она клюет сразу же, как только извивающиеся концы червяка начинают погружаться в воду.

Поплавок исчезает молниеносно, будто кусок свинца. Потом выгибается удилище, звякает натянутой струной леска и темно-желтая рыбина, сделав водяной взрыв, летит дугой над головой рыбака, шлепается на берег, бьет по нему сильным гибким телом.

Это форель.

Не в силах сдержать радость, мужик поднимает рыбу над головой и кричит напарнику, который удит метрах в сорока:

— Видал!

Тот завидует и немного нервничает, но виду не показывает:

— Тише ты, змей, распугаешь все...

Счастливчик поднимается на берег, разводит костер и чистит пойманную рыбу. К нему подходит приятель и с плохо скрываемой гордостью кидает еще одну форелину:

— У меня крупнее.

Изжарив рыбу на сковородке, мужики извлекают из речного песка закопанную туда для «остыва» «малютку» и разливают по первой чарочке...

Раньше, еще совсем недавно, такого не было.

Мужики заготовляли сорогу бочками, делали из нее мачко, а времени на красоту и на отдых у них не оставалось.

Сегодня в летний воскресный вечер двое колхозных мужиков сидят у костра на берегу речки Верхотинки, что за деревней, разговаривают... смотрят на природу...

А вокруг огромный луг, весь в иван-чае и в васильках. По две стороны этого цветочно-травяного поля высятся угоры в зеленых мягких одеялах из берез и осин, по третью сторону — лог, из которого вытекает речка Верхотинка, а по четвертую видны крайние дома деревни, в ней эти мужики и живут.

Подходит к дневному краю раздутое от кровянистой краски солнце. Над вершинами деревьев в очертаниях самых низких прозрачно-серебряных облаков разрождается новая вечерняя заря.

\* \* \*

Было море. Был лес. Но была еще и река.

Река детства. Она есть у многих, почти у каждого. Наверно, поэтому так дорога она людям.

О ней поют песни, создают художественные произведения. Даже, говорят, среди тем сочинений, предлагаемых абитуриентам на вступительных экзаменах на факультеты журналистики, появилась такая тема.

Ничего себе! Готовишь классику, зубришь учебники, и вдруг — «Река моего детства»...

Необычно.

И все же кажется, что сочинение на эту тему может написать только тот, у кого в детстве была река, кто сберег в душе ее образ.

Это понятие — неизбежный атрибут памяти о том месте, где ты вырос. Наряду с такими светлыми и драгоценными для нас понятиями, как дом, родители, школа, друзья, суть и глубину которых мы с неосознанным до конца восторгом начинаем постигать еще в ранние годы. Река детства формирует никакой силой не отрывное от нас, проросшее в наших душах сладкими, ласковыми корешками общее понятие Родины.

Моя река называлась Белая. Не знаю, откуда это название. Никаких особенно светлых или белых цветов в ней нет. Течение у нее тихое, почти без порогов, и река всегда окрашена под цвет неба — то синяя, то голубая, то серая. Ничем особенным она не примечательна. Разве только тем, что каждую весну колхозный бык Поморко загоняет в нее кузнеца Володьку. На грозные проклятья Володьки в свой адрес и попытки сельчан отогнать его Поморко не реагирует, только страшно сипит в ноздри и держит Володьку в воде, пока тот совсем уже не посинеет от холода.

Сгубила Володьку непредусмотрительность. Когда он был пастухом, а Поморко — теленком, надо же было ему именно этого бычка выбрать для куража и именно об его широкий лоб затушить цигарку. Откуда ему было знать, что доярки любили именно Поморку и именно его оставили на вырост в качестве производителя? Надо сказать, что они в бычке не ошиблись. А Володька поплатился и теперь каждую весну чудом спасается от Поморкиных рогов в глубоком течении реки Белой.

— Зараза,— жалится он мужикам,— знат, когда вода стыльше!

...Я не сразу понял мою реку.

Только барахтался в ней у самого бережка, вцепившись в дно, боясь, что течение снесет на глубину. Уже потом река научила меня плавать, и я перестал бояться течения. Часто-часто, даже в холодные летние дни, сидел я здесь на песчаном плесе в толпе деревенской ребятни, накупавшийся до одурения, весь в гусиной коже, не в силах ничего сказать из-за зубовного стукотка. Именно тут было центральное место наших сборищ, здесь рождались наши «страшные» тайны и заговоры, отсюда наш предводитель Шурка, по прозвищу Турачка, водил нас в морковные и гороховые набеги, под его умелым командованием мы отсюда, набрав мелких камешков, нападали на будку около магазина, где сидел полуглухой занозистый сторож дедко Олеха, Шуркин дедушка, дравший его за уши нещадно...

Еще я удил ершей, которых на реке Белой великое множество.

Здесь проходило мое детство.

Но реки я не понимал. Она была просто движением воды, где можно купаться и удить ершей.

Ощущение реки, единения с ней пришло позже, когда я влюбился в Наташу Петрову, девочку из Ленинграда.

На маленьком травянистом обрыве над рекой, уединенная от людских глаз, стояла худенькая, побитая ветрами рябинка. Сюда я приходил часто и думал печальные думы, потому что Наташа не отвечала мне взаимностью. Думал и глядел на воду.

Но странное дело: я открыл, что река сопереживает мне. Течение ее становилось задумчивым, неторопливым, тихим. Река будто остерегалась нарушить течение моих сердечных мальчишеских мыслей. В ней стал я находить единомышленника, а потом и друга.

Я никогда не обманулся в ее искренности, честности и надежности.

Иногда на душу ложилось что-то тяжелое, липкое и нечистое. Тогда прохладное речное течение проходило через мою душу и смывало все лишнее, инородное, прилипшее случайно.

Оказалось, что и у реки есть смена настроений.

Весной, разломав спиной лед и выбросив в море его осколки, она ликовала в свободе, распрямлялась в восторженном водяном беге, переставляла как ей хотелось валуны на дне, как веселая и чистоплотная хозяйка, очищала и обновляла свои берега, смывая с них портящий ее вид мусор, кормила кислородом полусонных с зимы рыб.

Меня она встречала весной с нескрываемой радостью: призывно подмигивала бликами, быстро-быстро и страстно нашептывала что-то...

Летом она много трудилась: купала ребятишек, стирала и полоскала белье, выращивала мальков, качая и подкармливая их в теплых, мутноватых заводях. Поэтому и вела себя спокойно и строго, не показывая никому, что ей хочется и поиграть, и поволноваться, и рассердиться на кого-нибудь злого...

Поздней осенью река, потемнев от усталости, текла опять величаво, неторопливо и полноводно. Широкогрудно и привольно дышала, как могучий человек, от которого многого ждали в трудах, и он не посрамил надежды. Снова идти под лед реке не хотелось, и днем, собравшись с силами, она ломала нарастающий по ночам тонкий, но упругий лед, рассыпая его на хрустящие, прозрачно-хрустальные осколки.

... Прошли годы, но любовь моя к реке только крепнет. Само ее существование — это незыблемая для меня опора. Течение моей жизни кажется мне истоком из реки моего детства. Душа моя не высохнет, пока есть влага в этой реке.

Я постоянно стремлюсь к ней, научившей меня плавать, бороться со встречным течением.

Она течет через мое сердце и очищает меня.

Я окунаюсь в нее с головой, и река смывает все прилипшее к моей душе, наносное, постороннее, недостойное...

Останься же полноводной, река! Пусть не замутнеют твои воды!

1. Баклан — местное название каменистой отмели. [↑](#footnote-ref-1)
2. Коржок - часть носового киля. (Здесь и далее примечания автора.) [↑](#footnote-ref-2)
3. Суземные пожни — дальние лесные сенокосные луга. [↑](#footnote-ref-3)
4. Лава — специально оборудованное место рядом с избой для приема пищи. [↑](#footnote-ref-4)
5. Летник — тропа в лесу, которой пользуются только летом. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ревяк — морской бычок. [↑](#footnote-ref-6)
7. Полёвки — здесь: полевые цветы. [↑](#footnote-ref-7)
8. Пожня — лесной луг. [↑](#footnote-ref-8)
9. Кулига — ответвления от сенокосных лугов. [↑](#footnote-ref-9)
10. «Морда» — вид рыболовной снасти. [↑](#footnote-ref-10)
11. Сорожка — плотва. [↑](#footnote-ref-11)
12. Пестерь — плетенная из бересты заплечная корзинка. [↑](#footnote-ref-12)
13. Рюжа — вид рыболовной снасти. [↑](#footnote-ref-13)